

Яков Кротов

**ВВЕДЕНИЕ
В ИСТОРИЮ**

11 950 слов

12+

Яков Гаврилович Кротов

Введение в историю

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39992932

SelfPub; 2018

Аннотация

Сборник эссе 1978-2018 годов о смысле истории и методе исторической науки.

Содержание

Превращение пространства в историю	4
История как текст	16
Черепаша истории и Ахилл человечества	19
Юваль Харари: история газона как модель истории человечества	22
Историчность, подлинность, аутентичность	25
История – не об истории	29
История – учитель, а не статуя историка	31
История – не поиск корней	33
История – не свалка	35
История как сослагательное наклонение	36
Альтернативность истории	40
Превращение пространства во время	42
Превращение камней в хлеба	44
История живая и история мёртвая	48
Цель, притворившаяся средством	53
Существование – травма, история – лекарство	55
Событие и бытие: зерно и урожай	57
Почему историки не делают прогнозов	61
История человечества как история неуправляемости человечества	64
Отсев и посев	69
Милитаристская ложь об истории	73

Превращение пространства в историю

Шелкопряды превращают листья в шёлк, пчёлы превращают цветочную пыльцу в мёд, человек превращает пространство в историю.

Во всех трёх случаях происходит ещё и чудо превращения довольно неприглядного физиологического процесса в нечто очень ценное и полезное. Шёлк, мёд, история – продукты двойного назначения. Они полезны тем, кто их из себя выдавливает, но ещё больше они полезны другим.

История больше похожа на мёд. Каждый человек производит свою историю, заполняя свою ячейку в сотах человечества, но свой настоящий вкус история обретает по мере объединения, как и шёлковые нити становятся шёлком, когда их объединяют в ткань.

История так же невозможна без пространства как человек невозможен без тела, но так же и несводима к пространству. Младенец занимает пространство, но не имеет истории. Пространство младенца кажется взрослому крошечным, но на самом деле это вселенная, космос, бесконечность. Новорожденный ощущает себя гигантом, и если бы он видел галактики, то считал бы их сыпью у себя на коже.

Идёт время: точнее, ходить начинает человек, простран-

ство для него начинает уменьшаться, зато это пространство наполняется другими людьми. Младенец лишь смутно видит даже мать, он прежде всего щупает и нюхает. Он помнит лишь то, что происходило с ним – меня покормили, мне было холодно, мне было тепло, мне было больно. Это – показатели времени, а не история. История начинается, когда человек начинает помнить, как общался с другими людьми, когда человек присоединяет к истории своего взаимодействия с людьми чужие истории.

Символично, что изобретение искусственного шёлка ничуть не обесценило настоящий шёлк. Существует множество историй низкого качества, дешёвок, легко приобретаемых и усваиваемых, но подлинная история по-прежнему одна. Разница та, что для приобретения настоящего шёлка нужны не деньги, и многие богачи, брезгующие даже прикоснуться к чипсам (справедливо брезгующие), преспокойно запихивают себе в мозги историю, так же похожую на подлинную, как чипсы со вкусом икры похожи на икру.

Человек растёт, но его пространственный абсолютизм не обязательно уменьшается. Ведь рост происходит не в истории, а во времени. Время измеряется сантиметрами в год, история – людьми и словами. Если человек, озлобившись на всех, бубнит и строчит бесконечные слова, то его история бесконечно мала – в верхней-то части дроби единичка, его драгоценная персона, а должны быть миллиарды. Причём, если цифры в дроби подлежат сокращению так, чтобы

между числителем и знаменателем не было ничего общего, то дробь истории по определению стремится к достижению максимально общего. Ни одного человека сократить нельзя. Только кажется, что бывают одинаковые истории, одинаковые люди.

История есть противостояние смерти, которая сокращает человечество, так что даже при самом мирном течении жизни история есть очень увечное и неполноценное явление. Кого-то уже нет, кого-то ещё нет. Как ни поправляй настоящее и будущее, прошлые трагедии остаются трагедиями, сохраняются разрывы между теми, кто разделён поколениями, расстояниями, ненавистью. Их можно забыть, и людей забывают, но это не решение проблемы, а её обострение.

Помнить всё, впрочем, тоже не выход – абсолютная память не творит историю, а лишь консервирует время. Время так же отличается от истории как ходячий мертвец от воскресшего человека. История ничего не забывает, но далеко не всё впускает в себя. Всех впускает – в идеале, но не со всяким багажом. Это не цензура, это сострадание (хотя вообще-то любовь, но пусть уж это останется секретом).

Человек и превращает пространство в историю в той степени, в которой симпатизирует происходящему, принимает события в своё сердце вместе с теми, с кем, собственно, события и происходят. Если не принимает – то остаётся в пространстве и во времени, окружённый историями других и обладая лишь историей своих страхов, своей ненависти, своей

бесчеловечности.

Во времени прогресса нет, но история сама по себе есть прогресс. Изобретение телевизора не так важно, как изобретение истории – а история изобретена, сотворена, она не появилась сама по себе вместе с человеком. Человечество существует настолько, насколько существует история, и человечество движется вперёд не настолько, насколько движется время, а насколько люди соединяют свои отдельные истории в общую. История не воскрешает, не мстит, не наказывает, не учит, она соединяет людей и это и есть высший прогресс.

История истории начинается с огромной ошибки – убеждения, что в прошлом было лучше. Речь даже не о рае, рай – это религия, а не история. Речь о золотом веке. Якобы изначально люди были лучше, даже грешили без нынешнего лицемерия. Убил Каин Авеля, так и убил, не заявлял, что это справедливая война. Но семья была семейнее, жёны женственнее, дети трогательнее.

История есть прогресс уже потому, что отправная точка истории человечества – это история животных, «обезьян», условно скажем. Не было происхождения человека от обезьяны, человечества от животных. Было происхождение человеческого коллектива от животного стада, от стаи приматов. Коллектив так же отличается от стаи, как личность отличается от коллектива. Все попытки представить коллектив разновидностью стаи, а человека – разновидностью обезьяны, это отрицание не прогресса, а эволюции. Прогресс начи-

нается там, где заканчивается эволюция.

Прогресс, история совершаются не бессознательно, не путём мутаций и приспособлений, а путём творчества и свободы. История не разворачивается, словно цветок из бутона, словно организм из генома, она не дана изначально. Изначально даже нет отдельных историй отдельных людей, есть лишь история коллективов, начиная с семьи, а это всегда лишь полуистории, всегда более ложь, чем правда, миф, причём миф столько же поддерживающий жизнь всех вместе, сколько и ограничивающий жизнь каждого в отдельности.

Семья, община, цех, государство всегда с лёгкостью принесут каждого своего члена, не говоря уже о постороннем, в жертву себе как целому. Это не Авраам, который был готов принести в жертву весь народ, отцом которого уже считал себя, народ, сосредоточенный в единственном сыне.

Прогресс в истории есть движение от историй коллективных к историям личным. Только из частных историй может состоять общечеловеческая история. История человечества не сумма историй войн, стран, открытий. Она – история тех, кто созидал, любил, творил, творит и будет творить. Конечно, в неё входит и истории войн, рабства, насилия, но это история болезни, а не история истории. История человечества не есть и механическое сложение отдельных человеческих историй в могучую кучу. В отличие от истории коллективов, которые все могут и должны быть известны в мельчайших подробностях, в истории каждого человека много «приват-

ного» – запретного для других. Это не грешки и преступления, напротив, это «святая святых», то, что объединяет людей помимо слов, и должно оставаться закрытым друг для друга.

Человечество похоже на шелковичного червя ещё и тем, что движется волнообразно. Разные народы, разные люди, даже разные части души одного и того же человека могут находиться в разных исторических эпохах. У кого-то ещё рабовладельческий строй, кто-то уже на сто лет вперёд забежал одной-двумя мыслями. Иногда хочется топнуть ногой и потребовать, чтобы все и всё подтягивались поскорее, только ведь на одного забегающего вперёд приходится не менее одного, забегающего совсем не вперёд. Так что и в истории полезно не превышать скорость и дистанцию, чтобы не оказаться преждевременно в вечности. Чтобы человечество не вымерло в одинаковость, нужно терпеть источник неравномерности в развитии – свободу и уметь ею пользоваться для преодоления всего, что мешает жизни становиться историей.

Великое третье и его враги. История и творчество

Не два, а три начала определяют историю человечества. Человек склонен мыслить оппозициями: родить/умереть, быть/не быть, свет/тьма, старое/новое. Это соответствует реальности внечеловеческой и дочеловеческой, но в человеке есть нечто, выходящее за пределы реальности. Не один процент, а сто первый процент.

Есть оппозиция «психика/материя», а есть крохотное

«дух», и это крохотное может взорвать оппозицию, симметрию чёрного и белого. Может и не взорвать, может быть задавлено и задушено. В этом смысле у «великого третьего» в человеке есть свой негативный двойник. Если назвать «третье» творчеством, то двойник – разрушение, убийство, калечение.

«Великое третье» беспокоит человека и побуждает его творить, причём творчество ощутимо именно человека, а не этого «третьего». Человек вновь и вновь переживает эту странность: он создаёт новое, чудесное, не сводимое к предыдущему, не вытекающее из предыдущих причин и сред, и это творчество переживает как «вдохновение», «озарение», «выход из себя», «преодоление», «трансцендирование», но это творчество – именно его. «Великое Третье» по отношению к человеку не то, что человек по отношению к собаке или автомобилю. Творит сам человек, хотя к моменту начала творчества человек ещё не есть вполне человек, вполне творческая личность, только в процессе творчества человек становится собой.

Страшно творчество, оно непредсказуемо, а ведь предсказуемость – главное средство борьбы человека с материей. Слишком очевиден факт материи как угрозы, как чего-то не принимающего человека, жизни, сопротивляющегося жизни, которую, казалось бы, материя и порождает, пусть случайно. Порождает невольно, случайно, бездумно, и порождённое отрывается от материи как протуберанец от солнца и

так же начинает остывать и расплзаться в пустоте, и пустота, а не человек есть преобладающий тип материи.

В борьбе с пустотой, которую человек знает как смерть и зло, человек старается гарантировать творчество, чтобы оно приобрело регулярность природного, материального явления, совершалось размеренно, словно восход и заход, но не приносило ущерба, в отличие от слишком яркого или палящего света. Творчество же нерегулярно и неуправляемо. В результате там, где раньше с восхищением говорили «вдохновенно», теперь со скепсисом говорят «харизматично». Как биологическое существо человек пытается ввести творчество в привычные, биологические рамки. Ты поэт? А почему ты поэт? Ты какой поэтической традиции следуешь? Вот на полке книги по истории поэзии – как ты вписываешься в эту историю, кто тебя родил как поэта?

В биологическом мире единственный способ дать определение чему-либо – через рождение. Обезьяна это то, что рождено обезьяной. Собака от собаки, царь от царя, левит от левита, учёный от учёного. Не физически, конечно, но профессор тот, кому другие профессора дали это звание. Кто рождает художника: учитель-художник, критик, зритель или покупатель? Возможны варианты, главное же – кто-то «рожает», кто-то подтверждает, передаёт, верифицирует. «Ученик не может быть выше учителя», и уж давно не может быть без учителя. Такое уподобление творчества рождению исключает самое опасное в творчестве, которое вообще-то

постоянно отрицает предыдущее, взрывает с трудом навешенный или придуманный порядок. Вот откуда чередование в творчестве взрывов, огненных протуберанцев – и остываний. Причём, это не только внешний по отношению к творящему процесс, не только «общество», «обыватели» гасят творчество.

Самому творцу трудно вынести творчество, трудно постоянно быть творцом, трудно бегать по волнам. Вновь и вновь волны цементируются, чтобы по ним можно было и увереннее бегать, и ходить, да и просто посидеть в кресле.

Уподобление творчества биологическому процессу работает почти всегда успешно. Но – почти. На самом деле, оно игнорирует эволюцию в биологии, где рождение никогда не бывает простым копированием, где всегда есть мутации, непредсказуемость – отнюдь не творческий сам по себе процесс, но уж точно имеющий к «собака от собаки» такое же отношение какое реальная круглая земля имеет к плоской земле, благополучно существующей и по сей день в повседневном мировосприятии любого человека. Даже астроном, отлично сознающий, что земля не плоская, в быту пренебрегает этим знанием: оно не нужно, чтобы дойти из дома до магазина.

Так же человек пренебрегает знанием того, что культура эволюционна не потому, что есть преемственность и дисциплина, регулирование культуры, а потому что – и прежде всего – потому что есть взрывы и озарения. Автомобили дви-

жуются по дороге не потому, что есть правила дорожного движения, даже не потому, что водители крутят руль, а потому что в моторах происходят взрывы, и даже электрический мотор всё равно эксплуатирует не статику природы, а тот «шевелиющийся хаос», который пытались игнорировать, как пытались игнорировать шарообразность земли.

В реальной жизни движение периодически прекращается, потому что регулирование культуры превращается в омертвление культуры. В убийство творчества. Убийство, вполне подобное физическому убийству. Убийство как нечто, отнюдь не идентичное смерти, даже противоположное смерти. Убийство лишь использует смерть, но убийство – человеческая бесчеловечность, тогда как смерть – просто природный процесс, который человек вычленил из природы и обозначил как нечто осмысленное и важное.

Человек проводит и принципиальные – как ему кажется – отличия между разными видами убийства – смертной казнью, убийством на фронте, убийством как преступлением – но человек вновь и вновь сталкивается с тем, что эти различия не помогают бороться со опасностью хаоса, беспорядка, бесчеловечности, а сами становятся её источником. Так и в культуре: человек создаёт механизмы, подобные убийству, когда одному говорят «ты не поэт, ты иждивенец и лодырь», а другому говорят «ты поэт», «ты пророк», «ты учёный».

Не говорить нельзя, такое говорение это очень творческая находка, это способ быть едиными, но и рисков у такого го-

ворения столько, что оно вновь и вновь оказывается катастрофой, омертвляет человечество, гасит творчество и ведёт в пропасть занудства, механичности, лжи – лжи как вчерашней правды, самой страшной разновидности лжи, как самая страшная смерть – это вчерашняя жизнь, которая сегодня с утра осталась вчерашней, не внесла ничего нового.

«Фарисейство», «тоталитаризм», «мещанство», да просто – если по классику, по Эразму нашему по Роттердамскому, – вот что такое вчерашняя жизнь, пытающаяся прожить сегодня за счёт вчера, остановив завтра. Торможение, а не помощь – торможение и как социальный институт, и как внутренний психологический механизм. Торможение противостоит творчеству, и должно противостоять, потому что творчество может разрушить само себя, творчество слишком часто монологично, и переход множества «творчеств» в диалогическое состояние, в контакт друг с другом, намного сложнее родов, взросления, воспитания. Тут человеческое вновь и вновь противоречит обезьяньему внутри человека и вне, в других людях и в природе. Торможение само по себе есть тоже разновидность творчества, но именно поэтому и оно рискует остыть – и остывает, и начинает уже не тормозить, а омертвлять и убивать, не слушать, а затыкать рот, не помогать, а мешать, тормозить не за счёт использования пространства для маневра, а просто тупо останавливая все процессы, убивая, а не связуя.

История и есть творчество в мире, где творчество невоз-

можно и опасно, но всё-таки возможно, и где ни природа, ни внутренние страхи и слабости человека пока не смогли ни остановить творчества, ни дать ему ту свободу, которая творчеству необходима. История есть творчество в мире, где ещё умирают от голода, где убивают голодом – или вводят яды под видом «смертной казни». История есть чудное и страшное совершение одновременно скотского, обезьяньего и человеческого, и понимание истории есть и условие её поддержания, и условие её преодоления ради продолжения.

История как текст

История появляется там, где появляется общение. Единицей общения является текст. Текст – не сигнал. Когда Свифт высмеивал мудрецов, желающих свести – для вящей точности – общение к предъявлению предметов – он был неправ, потому что высмеивал создателей кибернетики, но он был прав, потому что защищал текст как специфически человеческое явление, отличное от сигналов в кибернетике и природе в целом.

В реальности большая часть слов, которые произносят люди, не являются словами, а являются сигналами – скелетами или зародышами слов. Это омертвелые слова, слова-окаменелости. Общение есть труд по превращению сигналов в слова.

Уровень общения определяется не «содержательностью» текста самого по себе, а тем, насколько этот текст вызывает возможность ответа, насколько возможный ответ является свободным. Пьеса Шекспира – насколько её читают и смотрят – это создание условий для огромного количества людей проснуться, ответить не аплодисментами или вторичными словами-формулами, а чем-то своим.

Вот почему идея «точно определить значение слов» есть перенесение на сферу общения – явления сугубо человеческого – принципов кибернетики, математики. Свести чело-

века к яйцеклетке и сперматозоиду плюс тепло, свет, зарплата. «Спасибо» свести к пожеланию быть спасённым Богом (абсолютно идиотическое с точки зрения теологии пожелание). Послать в космос таблицу умножения и золотое сечение. Слова нужно не сужать до «да/нет», а расширять – только расширение слов есть истинное расширение космоса, и это расширение возможно именно в общении. Разумеется, общение вовсе не есть исключительно или даже преимущественно разговор с конкретным собеседником.

Первым, видимо, текстом в истории человечества является изображение человека с головой животного из пещеры под Ульмом (на картинке), около 40 тысяч лет назад. Или это всего лишь сигнал? Судить об этом трудно, потому что любое суждение о дописьменных культурах основывается на аналогии. Репродукция «Сикстинской Мадонны» на стене – это сообщение или сигнал? Иногда то, иногда другое, но чаще это омертвелый знак. Подлинное общение тиражируется, опошляется, омертвляется. Когда речь идёт о современности, объективацию легче выявить (сравнив подлинник и репродукцию, тексты о подлиннике и тексты о репродукциях, буде таковые найдутся), когда речь идёт о росписях Ласка, ситуация намного труднее. Очевидно, что там гениальные рисунки смешаны с каракулями-маракулями, но мы не можем уверенно считать, эти гениальные рисунки – первый исходник, оригинал, а не вторичное воспроизведение. Мы в ситуации музыковеда, который из всего XVIII века распола-

гает лишь музыкой Сальери, – он не может определить, существовал ли Моцарт.

В формировании личности всегда есть этап, когда человек реконструирует историю предков. Это реконструкция ещё не есть история, это зоология, это выявление опорных точек, по отношению к которым прокладывается свой путь. Настоящее общение с людьми любого времени и любой степени родства начинается, когда человек не определяет своё или чужое положение, а начинает двигаться из этого положения в неизвестность, создавать дорогу, выдувать реальность совместно с другими.

Черепаша истории и Ахилл человечества

Быть можно только, если одновременно ты умеешь не быть. Так не для обезьяны, так для человека. Такое возможно, потому что существует текст, фиксированная речь, слово, отделившееся от человека. Это фантастическое изобретение, освобождающее общение от разрушительного воздействия болезни, смерти и просто дурного настроения.

Человек не может не забывать, человек должен забывать, чтобы оставаться человеком, само забывание есть увлекательнейший и претворческий процесс, но это забывание должно иметь противовес. Забывание должно сочетаться с фиксацией, такой фиксацией, которая бы не довлела над человеком. Где-то должны храниться все оригиналы, подлинники, черновики сиюминутного, ставшие основой для последующих высказываний, но это хранилище не должно мешать человеку говорить дальше.

«Подлинник», «черновик», «исходник» применительно к человеку противоположен не «фантазии» и «подлогу», а противоположен остановке, смерти. Человек не должен, не смеет врать не потому, что речь невозможна без неточностей и подвираний, а прямо наоборот – потому что неточности и подвирания извращают общение. Но «точность» в общении

не есть точность в вычислении, это точность диалогическая, ведь в общении задействовано человеческое, а человек бесконечная творческая величина, человек не может быть равен ни другому, ни даже самому себе. Точнее, человек может быть равен себе (не другому), но тогда это болезнь, остановка, омертвление.

Расхожая мудрость по-разному, но всюду так или иначе напоминает о парадоксальности памяти. «Живи так, как если сегодня вечером умрёшь, работай так, как если будешь жить ещё сто лет». (Вместо «работай» в эпоху всеобщей религиозности ставили «молись»). Это то же, что «я царь, я раб». Как одновременно наслаждаться текущим днём, «однова живём», «после нас хоть делюж» - и при этом неустанно вкалывать? Да уж как-нибудь так, ты же умный человек!

Именно об этом многие риторические приёмы-«сшибки». Речь не может не быть парадоксальной (если она речь, а не тряпка). «Я не буду говорить о», – возвещает оратор и начинает говорить именно о том, о чём он поклялся не говорить. «Я пришёл исполнять закон до последней йоты» – и тут жди такого нарушения и йоты, и альфы, и юса малого, что мало не покажется. Так это же очень хорошо! Только так и нужно! Да, Ветхий Завет святое, его никто никогда не отменит – но чтобы не отменить, нужно отменить напрочь, нужен Новый Завет. Верный Богу должен убить Бога! Только недурно помнить про казус с Кашеем Бессмертным, который похвалялся Ивану Дураку, что смерть кощева в игле, игла в яйце,

да и взвыл – «ну не в этом же, Ваня!» Убить Бога надо в себе, свою самоуверенность душить в зародыше, в младенчестве и в старости.

Нужно помнить всё-всё-всё, забыть означает лишиться возможности простить, но «помнить» всегда включает в себя и умение не быть рабом памяти. Только в соединении с творческим началом, которое всегда есть создание чего-то из ничего, бытия из небытия, память превращается в историю. Не забывать, но так стремительно двигаться вперёд, чтобы память всего лишь сопровождала творчества как черепаха Ахилла – и отстать не может, и опередить не дано. История черепаха, человек – Ахилл.

Юваль Харари: история газона как модель истории человечества

Историк Юваль Харари отдельный этюд о смысле истории облёк в рассуждение об истории газона. В США объём выкашиваемой на частных газончиках травы превосходит объём сжатой пшеницы. По воскресеньям люди после церкви подстригают газон. А почему? Историк объясняет: газон – это миниатюрный вариант двора при входе во дворец английского или французского аристократа позднего Средневековья. В качестве иллюстрации – фотография Шамбора. Дворик-газон – не для дохода, а для общения с равными себе по званию, для развлечения (футбол и другие игры – они ведь на огромных газонах), символ власти, богатства, статуса.

Харари сообщил это читателю, и теперь читатель «свободен стряхнуть со своих плеч карго культуры, тяжеленный груз, навязанный европейскими герцогами, капиталистическими нуворишами и Симпсонами, и представить себя в японском саду камней либо создать нечто новое».

То есть, история – орудие цинизма, который видит условность всякого смысла, незначительность всякого знака и потому даёт человеку возможность создать знаки по своему усмотрению.

История газона в версии Харари, прежде всего, неверна.

Когда он заявляет, что люди палеолита не культивировали траву перед своими пещерами, он прежде всего обнаруживает незнание того факта, что пещерные люди в пещерах не жили вообще – просто в пещерах лучше сохранились остатки их жизнедеятельности. Что до того, культивировали в палеолит газоны или нет, историк твёрдо говорит: мы не знаем. А почему нет? Если строили мегалиты, то отчего бы не превращать и землю между камнями в символ? Разве сад камней был немыслим в палеолите? Любая могила – знак, такой же, как газон.

Огораживание территории для скинии, несколько территорий с различным статусом в храмовых пространствах... Рассказ о райском саде – это прежде всего рассказ о саде, то есть, об особом образе организованной лужайке. Газоны Ренессанса – это продолжение даже не вековой, а тысячелетней традиции разнообразнейших садов, и Харари попросту неправ, утверждая, что не было газонов в древнем Риме или в пекинском Запретном городе. С чего это он так решил?!

Газон – удачный пример древнейшей письменности. Могила, бусы, статуи, мегалиты, – это всё знаки, это всё «семиотические явления», разновидности коммуникации, письменности. Диалог с собой, с другими, с неведомым. Означает ли это, что нельзя не устраивать газона, не выдумывать нового? Наоборот! Именно потому, что обустройства земли – это письменность, нужно писать и нечто новое. Освобождение не в том, чтобы понять условность всех знаков, их про-

извольность, бессмысленность, и внести свою толику шума в эту бессмыслицу, а в том, чтобы понять условность всех знаков, их подчинённость человеческой воле, их осмысленность и внести новый смысл в диалог с собратьями по человечеству посредством лужаек, татуировок, украшений, одежды и, кстати, речей и текстов.

Историчность, подлинность, аутентичность

«Историчность» стало синонимом подлинности. Но в общении (а история – категория коммуникативная) сама подлинность есть не столько подлинность, сколько аутентичность. Аутентичное исполнение музыки не есть подлинное. Подлинная золотая монета не идентична аутентичной золотой монете. Аутентичный золотой не идентичен фальшивому золотому, он изготовлен не для обмана и не для использования в качестве средства обмена или наживы, а для воскрешения подлинности как духовной категории.

История есть разновидность риторики, историчность есть разновидность риторического стиля. Ромео, обнаружив труп Джульетты, может завывать с горя, может начать грязно ругаться, может просто остолбенеть – последнее вероятнее всего. То есть, подлинные реакции, неотрефлексированные, внутренние – это животные реакции. Для обезьяны и для человека это реакции одинаково подлинны, но для человека они ещё и нечеловечны, неисторичны, не аутентичны.

Тут налицо тот же базовый языковой парадокс, что и в утверждении «все утверждения ложные, включая настоящее утверждение». Язык говорит о себе, что он не может существовать. Он существует исключительно за счёт того, что с

точки зрения биологии, зоологии и прочей физики является ложью. А с точки зрения человека, как раз вой над покойником – это ложь, это волчье в человеке. Человеческое же – «for restful death I cry». На русском «зову я смерть», выпадает оксюморон – «хочу испустить дух и отдышаться». Екклесиаст – ложь, потому что утверждение «всё суета сует» само является суетой и даже, строго говоря, увеличивает суетность. Между тем, любому человеку понятно, что Шекспир побеждает смерть, побеждает отчаяние своим перечнем того, что вызывает отчаяние, как и Екклесиаст преодолевает суету, превращая её в предмет осмысления.

Когда человек говорит «я плачу», он лжёт, потому что именно в момент произнесения этих слов он как раз вынужден перестать плакать, он говорит. Тем не менее, человек по-настоящему плачет не тогда, когда плачет слезами, а тогда, когда утверждает о себе, что он плачет. Это можно было бы описать как игру, но этому мешает то, что для игры требуется хотя бы один играющий, а человек говорит о том, что плачет, более чем серьёзно – он говорит об этом по-человечески.

История как набор событий не исторична, она даже не подлинна – если это история человека, а не история звезды или музыки. История всего, что не человек, есть всего лишь факт, совершившееся. Даже о факте говорить трудно, потому что «факт» уже есть вычленение чего-то, акт словесный, разумный, внешний по отношению к бытию. История ино-

гда бывает подлинной – когда люди ведут себя именно как люди. Подлинная история уходит в прошлое (зоологическая история даже на это неспособна), её место занимает (должна занимать) аутентичная история – история как текст, описание, риторика.

Простейший пример – «поиски исторического Иисуса» или «поиски исторического Израиля» (начиная с «исторического Иакова» или поиски исторического Мухаммеда. (Наверное, совсем простейший пример – В.Пупкин, каковой существует же, в конце концов), но всё же он не настолько удобен для анализа). Какой Иисус, Мухаммед, Израиль «исторический» – точнее, какой Иисус историчен, аутентичен, подлинный? Мы не знаем, но мы отлично знаем, какой – не историчен, не аутентичен, не подлинный. Точнее, мы узнаём ложь постепенно. Историчен ли Иаков в описании книги Бытия? Конечно, нет. Причём, этот Иаков намеренно неисторичен. Не историчен, а мифологичен. В случае с Иаковым – нет проблемы, его историчность или неисторичность не имеют ни малейшего значения для государства Израиля, как бы оно ни утверждало противоположное. Государство! Абстракция! С Иисусом сложнее, потому что Иисус имеет значение не для государства, а для отдельного человека. Может ли быть историческим Иисусом, о котором заранее утверждается, что Он не воскресал, потому что воскресения невозможны? Конечно, нет – это мифологический Иисус, Иисус – герой материалистически-атеистического мифа. Мифологический –

не значит мифический.

Для верующего историчность Иисуса есть не то, что подлежит розыску. Розыск может установить зоологичность Иисуса – ту зоологичность, которая устанавливается для любого человека паспортом, надгробием, чеком в магазине, полицейским рапортом, медицинской картой. Историчности не может быть без зоологичности – если Иисуса вообще не было, говорить не о чем, но всё-таки Он явно был как некоторое белковое тело, подобное Нерону или Клеопатре. Что до подлинности, тут сложнее, а уж что до аутентичности – то она целиком не просто предмет веры, а дело веры. Точно так же существование жены или мужа – дело мужа или жены. В общении, в любви аутентичность достигается не человеком, а его собеседником, тем, кто его любит. Аутентичность эта обоюдна. Аутентичное чтение текста означает не только верное понимание подлинного текста, но и подлинное изменение понимающего, как аутентичная музыка есть не набор нот, а то, что совершают музыканты.

История – не об истории

Музыка ни о чём не рассказывает, замечал Бернштейн в своих великолепных лекциях о музыке. Любые сюжеты, которые связываются с музыкой, превращаются в условность, метафору (Бернштейн чисто по-американски сравнил сюжет в музыке с горчицей в хот-доге). Это верно и по отношению к живописи, скульптуре, литературе, архитектуре. Можно сделать «Мону Лизу» символом феминизма, косметического салона, Ренессанса и т.п., но «Мона Лиза» есть просто «Мона Лиза». Яблоко есть яблоко. Так и музыка есть музыка есть музыка. В этом её смысл – прорыв к сущности сквозь вторичное. Прорыв сквозь вещь-для-других и сквозь вещь-в-себе к жизни-как-жизни.

Это не означает искусства-для-искусства, это означает искусство-для-сути, а не для того, что Герман Гессе обозвал «фельетонизмом». Искусство не собачка, которая бежит и облаивает караван – когда восхищённо, когда злобно. Такие собачки есть, они очень нужны, чтобы караван не сбился в пути, но они – не искусство, а они – существование. Не человеческое, а животное. Как и караван в целом.

История – тоже искусство. Налицо омонимия. Есть три очень разных истории: история – действительность, история – наука, история – искусство. С музыкой легче, там есть три разных слова: звук – акустика – музыка.

История как действительность подобна звуку. Эта история просто происходит, хочет этого человек или нет, сознаёт или нет. Даже если человек оскотинивается, история не исчезает – хотя у скотины нет истории. История становится трагедией, но это человеческая трагедия. У животных, космоса, идей трагедий быть не может.

История-наука есть наука, устанавливающая, «что же было на самом деле».

История как искусство есть обнаружение того, «что есть на самом деле». Не было и прошло, а есть. Эта история невозможна без предыдущих двух, в отличие от музыки, которая превосходно обходится без сюжетов и по возможности стряхивает их с себя. В этом отношении история ближе к архитектуре, которая не просто застывшая музыка, но и непременно, обязательно – дом, жильё. Иначе архитектура превращается в скульптуру. Тем не менее, архитектура – не о жильё, а о жизни. История – не о событиях, а о бытии.

История – учитель, а не статуя историка

Изучение истории может ввергать в уныние.

Извините, а что не может ввергать в уныние? Какая отрасль знания в любого вселяет бодрость духа, веселье и благодушное расположение чувств? Если бы такая существовала, только ею бы и занимались.

Если бы была молитва, гарантированно поднимающая дух, всё бы человечество уже ею молилось. Многие ищут эту молитву (многие и снежного человека ищут). Большинство вообще не молится, большинство историей не интересуется, стараясь забыть даже то, что переживало само, – в общем, всё, как было при Геродоте. В крайнем случае, люди согласны на историю гламурную, в которой светлые тона сделаны поярче, а тёмные приглушены. Встречаются и циники, которые питаются как раз тёмными тонами.

Смысл изучения истории не в том, чтобы наковырять в ней эпизодов, свидетельствующих о том, что в самых тяжёлых обстоятельствах человек рвётся ввысь, созидает, любит и т.п. Человек, действительно, именно таков, но это надо знать не из прошлого, а из настоящего, из чтения себя, а не Геродота. Вырезать из истории белое и пушистое означает убивать историю, как вырезать из человека яркие блестящие

глаза означает убивать человека. История не статуя, которая красива в своей неподвижности (а древние греки ещё и раскрашивали статуи – Геродот, кстати, раскрашивал историю, что его не красит как историка).

Смысл знакомства с историей тот же, что и смысл знакомства с любым человеком. Войти в общение, соприкоснуться с теплом, увидеть себя частью и этого пространства, в общем – личностный рост или, точнее, обнаружение своего истинного размера. Уныние-то обычно не от того, что ты мал и слаб, а оттого, что ты боишься признаться себе в своей силе и величине (не путать с насилием и величием).

История – не поиск корней

Я сделал себе ДНК-анализ, я знаю генеалогию Кротовых до конца XVII века. Но корней у меня нет и быть не может. Ищущие свои корни люди пытаются перестать быть иванами, родства не помнящими, победить ту разобщённость во времени и пространстве, которую навязывала и навязывает кремлёвская власть. Однако, практика показывает, что это тупиковый путь. Нет более верных прихлебателей деспотизма, чем демонстрирующие свои корни казённые православные, казённые иудеи, казённые мусульмане, католики, буддисты и пр.

Человек не крапива. Человек – квантовый скачок из ботаники и зоологии в неизвестность.

Поиск корней привёл к возрождению в России черносотенства и разных квази-религиозных форм реакции. Освобождение от деспотизма не в том, чтобы проклясть своих родителей, искалеченных деспотизмом, а в том, чтобы принять их, усыновить и удочерить. Тем более, что деспотизм продолжается, калечение продолжается, пусть и в других формах. Да, наши корни сегодня – это деспотизм. Человек кричит, что православие религия его предков, а его мать и отец, бабушки и дедушки были большевиками. Он их что, как аппендикс вырезал?

Несвобода – наши корни, деспотизм – наша питательная

среда. Бессмысленно забуриваться в почву: чем глубже, тем худший деспотизм мы там обнаружим. Мы найдём там князя Владимира, который огнём и мечом крестит киевлян и новгородцев, мы найдём там Давида, огнём и мечом отбирающий Иерусалим у людей, которые тысячелетиями там жили, мы найдём там людоедов и колдунов. Найдём и поэтов, художников, изобретателей – причём это часто одни и те же люди! Нет двух изолированных рас – раса творческих людей и раса людоедов.

Обнаружить это и признать это в себе, – вот творчество истории, вот взросление, а не конструирование по своему вкусу избирательной коллекции из мумий покрасивее.

История – не свалка

Расхожее выражение «это наша общая история» или просто «это наша история», – вредная ложь. Обман и самообман.

Путин в 2017 году заявил об октябрьском путче: «Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением».

Оправдание насильника: мол, да, изнасиловал. Но это наша общая с изнасилованной женщиной история, и относиться к ней нужно с уважением, а не сажать меня в тюрьму.

История не есть свалка фактов. История есть разделение фактов, история есть оценка, когда денежная, когда нравственная, когда обе вместе, но это всегда интеллектуальный труд, а не вселенская смазь. История есть созидание из фактов человечества, как жизнь человека есть созидание из существования прямоходящего двуногого узконоса – человека.

Идея, что «прошлое есть прошлое», «все серенькие, все подонки, просто мы чуть более передовые в подонизации», есть идея преступная, античеловеческая и – антиисторическая.

История же есть разбор той свалки, в которую пытается превратить бытие зло и эгоизм.

История как сослагательное наклонение

«История не знает сослагательных наклонений» – это одно из убежищ негодяев, предателей и преступников. Вариант агрессивной ловушки из двух фраз: «После драки кулаками не машут» и «Недоделанную работу дуракам не показывают». Куда ни кинь – всюду ты должен молчать в тряпочку.

Вся история есть одно сплошное сослагательное наклонение. Каждая секунда есть осуществление миллиардных «если бы» да «кабы». Люди есть сослагательное сословие космоса, без них, действительно, всё было бы безусловно. Существование человека привносит в мир более случайного и неопределённого, чем существование тёмной материи, сверхновых и т. п. История не просто всегда может «пойти иначе». История либо «идёт иначе», либо она – не история, а животное существование. Это уж человек виноват, что живёт в основном не в истории, а в какой-то железной деде, в которой уж точно нет «если».

Разумеется, про то, что история якобы не знает сослагательного наклонения, говорят люди, которые сами охотно сослагают историю. Прошлое постоянно всплывает как экзампла, аналог для сегодняшних этико-политических суждений. Тут уже не вспоминают про «не знает сослагательного».

И правильно! Иначе мы обречены стать обезьянами – вроде навалынистов, у которых всё, что ни делает их каудильо в прошлом, значения не имеет («это у него был такой проект, который закончился»), которые каждый день начинают с нового листа.

«История – пророчество, опрокинутое в прошлое». История вся – о нравственном выборе людей, о том, как они колебались, спорили, боролись, обсуждали, что возможно и что желательно. История вся – нравственна насквозь, следовательно, она постоянно имеет в виду нравственные направляющие жизни. Иначе это не история, а просто развлечение для мещан.

Этическое суждение в принципе не есть суждение о возможном. Оно есть суждение о необходимом. Поэтому его можно выносить относительно и прошедшей, и настоящей, и будущей ситуации – принципы неизменны. Если в этической системе принципы изменяемы, но это этическая система не системна и не этична, а попросту говоря, безнравственна. Что в России сплошь и рядом, почему, видимо, выражение про бессослагательное прошлое так популярно.

Идея, что история не знает сослагательного наклонения, логически связана с идеей, что люди не учатся на ошибках. Неверно. Вот что писал Ключевский:

«История, говорят не учившиеся истории, а только философствующие о ней, никого ничему и не научила. Если это даже и правда, истории это нисколько не касается, как на-

уки: не цветы виноваты в том, что слепой их не видит. Но и это не правда: история учит даже тех, кто у нее не учится; она их проучивает за невежество и пренебрежение».

«Проучивает» не всегда прямолинейно. Великие злодеи часто умирают безнаказанными – Сталин простейший пример, Пол Пот или Мао поменьше. Обесчеловечивание – вот наказание тем, кто не учится. Но более всего виноваты перед историей мизантропы, которые осуждают «человечество» за то, что оно не учится на ошибках – ведь это осуждение есть ошибка куда больше, чем любое сталинское преступление.

Есть в идее, что история не имеет сослагательного наклона, непонимание того, что история не есть время. Время – да, не знает сослагательногоклонения. Но время не знает и повелительногоклонения, время вообще не знает грамматики, время – по ведомству физики, оно не знает языка вообще, только акустику. «Время», «прошлое», «настоящее», «будущее» – это сугубо человеческие понятия. Не будет человека – не будет и этих понятий. Это не означает их эфемерности или ничтожности, прямо наоборот. Солнце сгинет, солнце любви останется.

Прошлое знает сослагательноеклонение, потому что прошлого нет. Есть настоящее, часть которого представляется над прошлым, а часть – будущим. Предательство Иуды или подвиг Христа не делятся на точки-поступки, не связанные между собой или связанные очень слабо. Это цельная жизнь. Поэтому возможно и покаяние, и предательство.

Покаяние изменяет прошлое, как изменяет его и предательство. В этом смысле прошлое похоже на предлинную немецкую фразу, смысл которой может быть противоположен в зависимости от пары букв в конце – глагольной приставки.

История есть учитель жизни именно потому, что знает сослагательное наклонение. Естественные науки тщательно экспериментируют, чтобы выявить процессы, которые «если бы» не знают, в которых всякое изменение диктуется железным «законом природы», а не произволом. Точнее, естественники исходят из того, что в мире есть только процессы, а познание есть выявление подлинных закономерностей от мнимых, равно как и изгнание призраков случайности и свободы. История не отрицает закономерных процессов в жизни людей, но напоминает, что эти процессы – от биологического, от животного, а не от собственно человеческого. Поэтому история изгоняет социологию, которая описывает закономерные процессы, выставит к «наукам о природе» и всякое исследование закономерного и неслучайного в человечестве. Человечество случайно по сути, в этом удовольствие и радость быть человеком. Уныние есть признак предательства случайного, перехода на сторону закономерного.

Альтернативность истории

Интересно непредсказуемое. Большинство событий идут по прогнозируемому пути. Пилящий сук, на котором сидит, падает. История интересна, ибо она всегда непредсказуема. То в истории, что прогнозируемо, это уже не история, а география, социология или просто бухгалтерский отчёт. Этим история и интересна. Повторяемое в истории случается, но и повторяемое непредсказуемо. «История не знает альтернатив» – вздор. История знает лишь альтернативы, причём множественные, не какой-то сатанинский выбор из двух зол.

Когда в 1990-е годы в России появилось выражение «альтернативная история», это не случайно совпало с появлением выражения «традиционная медицина». В обоих случаях имелось в виду нечто, прямо противоположное обозначаемому. «Традиционной медициной» назвали именно нетрадиционную, высосанную из пальца сразу после завтрака «нетрадиционным медицинером». Настоящая медицина, научная медицина – чрезвычайно традиционна, в ней реализуется подлинная традиция, традиция как бережное накопление, проверка, баланс нового и старого, личного и общего. «Традиционная медицина» похожа на «традиционную религиозность» – это свежий набор суеверий и полуправды, составленный для улаживания своих фантазий.

Так и «альтернативная история» оказалась великодержав-

нической, антисемитской, антизападной пропагандой, категоричной, не желающей слышать о том, что есть альтернативная история. Для этой «альтернативной истории» нет альтернатив: «жиды» и «европники» обокрали Россию, приписав себе все её заслуги, и всегда будут обкрадывать, ибо своего ничего сделать не могут. Это подлинно «безальтернативная история» параноиков и агрессоров.

Настоящая же история всегда альтернативна, поэтому историк исследует – он выясняет, какая из альтернатив осуществилась, какие альтернативы были. Историк лишь улыбается, когда слышит, что нечто «невозможно». В истории возможно всё: в самой демократической стране может развиваться фашизм, в России может образоваться свобода и т.п. Тут ведь действующие лица – не молекулы воды, которые, действительно, не могут договориться друг с другом и вылететь в одном направлении из стакана. Тут действующие лица – именно лица. Альтернативность истории – счастье, пока человек действует, и горе, когда человек отказался от действия или совершил действие неправильное. Но даже горе – интересно, ибо его могло не быть.

Превращение пространства во время

Нам лишь кажется, что в детстве время шло медленно. Для человека новорожденного времени нет вообще, есть лишь пространство. Это небольшое (с точки зрения вечности) пространство, которое удачно обозначают как «пупок». Когда китайцы называли свою империю Поднебесной, а русские Подсолнечной (было такое), то «небо» и «солнце» были всего лишь проекцией собственного пупа. Когда ребёнок выучивает свой адрес, то он выучивает название планеты, причём единственной в мире планеты.

Рост человека есть не расширение пространственного кругозора. Сами по себе путешествия, открытие мест, которые – чужое пространство, не своё, совершенно не обязательно ведёт к росту. Собственно, тут корни агрессии. Открыть для себя новую страну – и уничтожить её. Всякое завоевание есть уничтожение другого пространства как чужого, особого. Это не «приращение», это растягивание, раздувание себя до краёв вселенной.

Человек замечает, как он растёт в пространстве, удлиняется и расширяется, но значительно важнее, что человек растёт во времени. Он преобразует пространство во время. Время человеческое – не количество минут, необходимое

для передвижения в пространстве, а количество минут, проведённых в общении. Время – функция не пространства, а диалога, включая диалог с самим собой. Пространство так же создано для общения, как стол создан для застолья.

Глобализация есть превращение пространства монолога во время диалога. Семья, этнос, государство – это ведь монологические структуры, аутические. Глобализация как перемещение товаров глубоко вторична, первично в глобализации перемещение людей. Не мечей, не идей, а именно людей. Это не всегда физическое перемещение – социальные сети есть виртуальное перемещение, но диалог-то возможен не виртуальный, а именно реальный. Вот диалог генерала с солдатом – виртуальный, фиктивный диалог.

Вера в то, что ангелы способны к мгновенному перемещению, как и воскресший Иисус, – это интуиция о том, что, если человек способен к вечности, это означает не прощание с пространством и телом (тело и есть свернутое вокруг сердца пространство), а поставление пространства в такое же подчинённое отношение к времени, в каком сейчас, по нашему опыту, время находится по отношению к пространству. Пространство ограничивает время, пространство сжирает время, сама смерть есть победа пространства над временем. Победа времени над пространством будет более человечной – вечность не уничтожает пространство, а освобождает его для соединения людей в общении.

Превращение камней в хлеба

История начинается как ненависть. Человек ненавидит предков, боится их, не верит в их полное исчезновение, задабривает покойников и бьёт перед ними поклоны. Если вдруг ему покажется, что предок размяк, то может и святым провозгласить и в боги произвести. Облегчение-то какое! И поехали реликвии, святыни, образки... Пока не придёт новое поколение божеств, оттеснив старых в небытие, и повыкидывают образки в реку...

Почему ненавидят предков? Почему не рвутся воскрешать отцов, вопреки призывам некоторых более современных сироток? А вы видели этих отцов? Вы их читали? Про то, что ребёнка надо пороть, пока поперёк лавки укладывается, а когда подрастёт – кулаками, кулаками, по наглой рыжей морде? Патриархальное общество, не кот чихнул! Потому и восстают против раскапывания могил археологами – обычно, не сознавая глубинных причин восставания. Боятся, как бы предок опять кулаки не начал распускать! Это в архаической культуре именуется «уважение».

В такой истории, конечно, не место ностальгии и её материальному проявлению – стремлению сберечь что-то на память. Помнить вот этого крокодила в образе отца?! Вот ещё! Сломанное ребро о нём превосходнейшим образом напоминает!

Отсюда в древней истории отсутствие присутствия исторических памятников. Монументы прошлого есть – это власть воздвигает на память о себе, любимой. Ну, помрёт власть, и монументы начинают разрушаться. Предвидя это, власть громоздит каждую пирамиду выше предыдущей, на радость современным туристам. Выпускает кружки к трёхсотлетию дома Романовых, которые к момент выпуска кружек уже полтора века как Голштиновы. Но продавать приходится ниже себестоимости и революции это не отменяет.

Как и всё стоящее в мире, создание сувениров, сохранение материальных остатков прошлого, превращение мусора в «памятники истории и культуры», – это результат абсолютно противоестественного процесса: любви. Любовь к любимому человеку побочным отходом имеет суверенизацию того, что с любимым человеком связано. Вот это стол, на нём он ел, вот это стол, на нём... Поручик Ржевский был такой затейник!

Как и всегда в подобных случаях, включается и обратный механизм. Взглянет на засушенный цветок, сорванный во время медового месяца – и расцветёт в душе подвядшая было морковь-любовь.

Вот почему трудно в царство небесное войти с деньгами, но ещё труднее войти без того же засушенного цветочка, без фотографии жены и бабушки с дедушкой, без чашки, которую мама так любила... Маме на небесах эта чашка не нужна, она мне нужна! Это не идолопоклонство нимало, это узе-

лок на память, я же ничего ни у чашки, ни у мамы не прошу, а просто млеюсь и греюсь, на чашку поглядывая. Не разбивайте голубую чашку, ну пожалуйста!

Вот почему не нужно противопоставлять людей и камни. Пусть это делают люди, у которых камни вместо сердца, вроде тех, что разрушили античные статуи Будды в Афганистане, поносили почти все дореволюционные здания в России и уничтожают одной ковровой бомбёжкой современных людей и античные руины. Если мы скажем, что людей жалко, а руин не жалко, то уподобимся именно тем, кто убивает людей вместе с руинами. Людей жалко и руины жалко! Если наше сердце не каменное, то его хватит пожалеть всех и вся! Вы в Освенциме бывали? Вы груду очков, груду ботинок, груду детских игрушек видали? Вам игрушек не жалко, детей погибших жалко? Давайте игрушки выкинем на свалку, да?

Все «исторические памятники» – как те самые круглые очки эпохи Гитлера, сброшенные в безумный памятник словно восьмёрки – символ бесконечности. Их жалко, эти очки, хотя мы не знаем, кому какие принадлежали. Вот эти носил, возможно, мелкий тиран семейства, а эти – святой, оба задохнулись в одной камере, и мы их обоих любим, и не дадим им кануть в небытие – достаточно того, что они канули в газовую камеру.

Платоническая любовь – вот что такое жалость к людям, не ведающая жалости к материальному миру, в котором жи-

вут людей, равнодушная к подлинности камня. Вот по этому камню ходил Христос, не смейте этот камень выкидывать и заменять каким-то таким же, только новым и сияющим! Тогда, может, перестанете, наконец, распинать людей. Чтобы к людям перестали относиться как к камням, чтобы сердце перестало быть как камень, нужно превратить камни в хлеб истории, потому что не хлебным хлебом только жив человек, но и историей, исходящей от других людей.

История живая и история мёртвая

Факты – как дрова, которые помогают согреться холодной ночью. Пошёл в лес, насобирал хворост, разжёл костёрчик и сидишь, греешься, подкладываешь по веточке. Хорошо!

Любовь к фактам как таковым вдохновляет читателей (и составителей) всевозможных книг рекордов, справочников, научно-популярной литературы и литературы вовсе не научной, но популярной. Вообще-то любая сплетня – тоже факт. Перечисление фактов чужой жизни, фактов научных, необычных, странных, – отличный способ успокоиться, обрести почву под ногами.

Поэтому историческая наука рождается из коллекционирования фактов, «антикварного» подхода к истории, совершенно так же как биология рождается из коллекционирования фактов и их систематизации. Факты «открываются», «устанавливаются», «выясняются». Факты не заменяют смысла, они даже не всегда помогают выяснить смысл, но факты дают возможность продержаться, перекусить в поисках смысла. Факты – это бисер, его не надо метать перед свиньями, нужно этим бисером играть самим.

Сила науки не в том, что она основывается на фактах, а в том, что она объединяет тех, кто умеет основываться на фактах, с теми, кто умеет лишь собирать факты. Науки без фактов не бывает, факты без науки бывают. Большинство учё-

ных «всего лишь» собирают факты, и в этом смысле они не учёные, а так... «полевые работники». Так ведь полевые работники, а не полевые мыши, не уничтожают, а разыскивают и сохраняют. Нет способности к концептуальному, теоретическому мышлению? Ну нет, так нет, ничего страшного. Страшно, когда концептуальное мышление есть, но работает без фактов или насилует факты, не слушая никого и ничего. Средневековье-с!

Самое же страшное, своего рода триллер интеллектуальной жизни – это мозг, который принимает концепции за факты. Таков, не к ночи будь помянут, марксизм. Он вполне жив, и не только в России. Вот книга Джона Хэлдона (Оксфорд) о Византии седьмого столетия. Автор смелый человек и прямо говорит, что книга марксистская (хотя всё-таки ставит кавычки). Она действительно марксистская в том смысле, что в ней нет фактов, нет жизни, нет истории. В ней описание какого-то фантастического, не существующего и крайне уродливого мира, где есть лишь «процессы», «экономические явления», «политические отражения явлений». Человек принимает теории, концепции, собственные методологические установки за факты. То, что составляет жизнь, является жизнью, для него либо вовсе не существует (и ни одной «истории» в прямом смысле слова, да и «истории» чего бы то ни было, в книге нет), либо расценивается как «репрезентация власти».

Словечко «репрезентация» – это современный вариант

слова «надстройка». Экономика – база, а жизнь – вера, любовь, творчество – это надстройка. Таков был этот взгляд на мир ещё полвека назад, теперь он лишь изменился. Экономике отодвинули на второе место, она сама стало производным, а на первое поставили концепцию «власти». Так марксизм деградировал до бандитизма, и деградация эта была неизбежна – как неизбежна была деградация экономики, организовывавшейся по Марксу.

Любовь – репрезентация власти. Вера – репрезентация экономики. Жизнь – репрезентация смерти. Изучать репрезентации не грех, но всё же небытие первично, смерть первична, а жизнь и бытие – лишь их репрезентации, надстройки. Вот философия марксизма.

Практика – во всяком случае, у Хэлдона – ужасна. Сотни страниц (и множество книг, автор плодовит до безумия) – и никаких новых концепций, новых фактов. Вообще, подобных случаев очень много, возможно даже, большинство исторических книг таковы. Человек умеет собирать факты, но анализирует их неверно. Это разновидность аутизма. Человек вроде бы говорит, но на самом деле он лишь имитирует речь. Так ребёнок года в четыре пытается шутить, но выходит глупо, да он и сам это знает и посматривает на окружающих – вышла шутка или нет. Ребёнок посматривает, а такие вот взрослые дяди – нет. Они самоуверенно топчут окружающих. Как же – формально ведь всё правильно? Слова расставлены точно таким же методом, как в других книгах? Так

чем вы недовольны?

Если аутист пишет книги-антикварии, это полбеды, он хотя бы факты выдаёт. Но если аутист становится марксистом и пишет концептуальные книги – всё, это подлинный «конец истории».

Ужас в том, что университетская система беззащитна против аутистов, а насколько эта система бюрократична, она их даже поощряет. Исследователь-аутист педантичен, бесконфликтен, а его имитации социального поведения бюрократу удобнее, чем настоящее социальное поведение. Грантовая система точно так же склонна отбирать не живые, а мёртвые души, как и система учёных, целиком находящихся на государственном содержании – собственно, пример России после 1990 года показал, что шило равно мылу и даже прекрасно с ним соединяется.

«Похвала глупости» Эразма и есть издевательство над этим удивительным явлением: жизнь, поедающая себя самоё. Университеты, наполненные мёртвыми учёными. Церковь, наполненная мёртвыми проповедниками. А всё потому, что директору зоопарка удобнее иметь в вольере чучело слона, а не живого слона. Но виноват не директор, и выход не в том, чтобы сделать слона директором зоопарка, а выход в чём-то другом. Социальном контроле? Возможно. Но прежде всего – в личной ответственности учёного, который предпочтёт быть отставленным от научной институции, чем от науки. Чему в истории, к счастью, мы тьму примеров ви-

ДИМ.

Цель, притворившаяся средством

Любую проблему можно решать через расширение или сужение пространства выбора. Труднее всего определить, какой способ наилучший. Нужно поймать преступника? Посадить всех и постепенно выпускать невиновных. Скучно тянется время с мужем? Сократить это время! В обоих случаях всё наоборот – количество арестованных уменьшить, количество времени увеличить.

История как описание прошлого интуитивно представляется процессом сужения. Проблема времени решается через отсев происшедшего. Вводится понятие «избыточное» – оно же «ненужное», «греховное», «мешающее». Самый яркий пример – церковная история, когда верующие вышелушивают из потока истории святых. Впрочем, точно так же поступают энтузиасты любой сферы деятельности, составляя историю «своих» через отбрасывание «чужих». Так пишется и «семейная история» – пишется или запоминается, рассказывается самому себе.

Такое сужение истории есть сужение сознания. Хорошо, когда человек начинает это ощущать и задыхаться. Однако, большинство людей страдают не клаустрофобией, а агарофобией: они боятся открытости реальному, они хотят превратить мир, пространство, время, в подобие шалаша, в котором рай с милым. Верующий такого типа сопротивляется

подлинной истории Церкви. Слишком много греха и зла во всех звеньях, слишком простыми людьми оказываются святые, слишком сложными оказываются клеймённые чёрным злодеи.

Тем не менее, история есть не дом, защищающий от внешних угроз, распада, дождей. История есть сам мир, защищаться от неё бессмысленно и вредно. Если речь идёт о верующем, то для того ему и дана вера, чтобы он вынес отсутствие дома, продуваемость всеми ветрами и освещаемость всеми светильниками, чтобы не спрашивал: «А где же святость?», чтобы был рад тому, что свет светит во тьме, зерно растёт в земле и что смысл истории не кощеево яйцо, а закваска, распределённая между всеми актёрами истории.

История есть путь. В пути всегда встаёт проблема, как быть со спутниками. Они ноют, они слабые, они падают, просят привала. Не все, конечно. Так вот этих «не всех» – отфильтровать? Бросить, ради достижения цели?

Русские народные сказки учат другому: пригодится и зайчик, и тараканчик. Насильно к себе не зазывать, но и от себя не прогонять, – и не только потому, что они «могут пригодиться», а потому что те, кто сопровождают нас на пути к цели, и есть сама эта цель, притворившаяся средством.

Существование – травма, история – лекарство

История – очень оптимистический вид познания. Психология, к примеру, как и биология в целом, рассматривает существование как отсроченное несуществование. Вселенная распадается («расширяется», деликатно говоря). Энтропия – правило, жизнь – исключение. Жизни позволено разве что плодиться, но как размножился, «отстрелялся» – так начинается старение, дряхление. «Жизненный опыт» – бусы из травм, шоков, разочарований. Суета сует и всяческая суета. Это – в лучшем случае, в худшем – Иов, не Екклесиаст. Конечно, из этих травм можно выжать лимонный сок и сделать лимонад, но в целом последнее слово не за оптимизмом и весельем, коли не считать весёлых поминок на стоический манер моего дяди Бенжамена.

История же есть игра: она искусственно создаёт пространство, в котором смерть отдельного человека не имеет большого значения. История создаёт искусственные сущности – «народ», «семья», «человечество», «эпоха». Сущности несущественные, однако, чрезвычайно практичные. Они помогают взглянуть на жизнь чуть иначе. То, что для одного человека – травма, оказывается незначительным, бессмысленным в качестве травмы и осмысленным в качестве факта. Трав-

ма разрушает, история созидает. История, а не вера в прогресс – глупая и вздорная. История позитивна не тем, что в ней возможно улучшение для каждого отдельного человека или для человечества в целом. История позитивна тем, что из букв, слогов, слов, фраз – каковыми является жизнь отдельного человеческого существа – складывается текст, книга. Мы все соавторы у бытия и его Творца. Даже, если мы погибнем бессмысленно, история нашей гибели будет иметь смысл – этот смысл вносит тот, кто говорит об этой гибели. Или – не вносит. Но это уже не история, а историоборчество.

Событие и бытие: зерно и урожай

Не случайно трудно, невозможно отделить историю как описание событий от истории как событий. Способность описывать события есть такая же исключительная способность человека, как способность творить события. Возможно, лучше говорить об этом как об одной и той же способности. Человек здоров настолько, насколько способен оглядывать своё существование, обдумывать его, наполнять его смыслами – и точно так же поступать с существованием других людей. Впрочем, человек, каким мы его – себя! знаем – лишь в очень малой степени пользуется этой способностью. Кажется, что человек болен, ограничен, что он сидит за рулём автомобиля огромной мощности и приходит в экстаз (или устаёт) преждевременно, когда разгоняет автомобиль до одной сотой этой мощности. Человек останавливается, задыхаясь от счастья, когда самое время разогнаться и расширяться далее. Так евангелист Иоанн заканчивает свою книгу парадоксом: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Речь идёт, конечно, лишь о мире, каков он в наших глазах, да и не о мире, а о человеке идёт речь. Человек неспособен вместить всего, что сам же и создаёт. Один поцелуй – как бутон, его можно описывать двадцать лет. Это объясняет, как возможна «вечная жизнь»,

которая без такого бутонного строения обычной жизни была бы жуткой тягомотиной. Вечная жизнь и есть распускание того бутона, которым является обычная жизнь, и это расцвет в обычной жизни почти нет, он лишь слегка угадывается в истории.

Есть истории, а есть История, как есть работа и работы, а есть творчество, есть знания, а есть наука. Есть эпизоды, а есть кино. История реакции Германии на поражение в Первой мировой войне, история отношений с нацизмом философа Мартина Хайдеггера или папы Римского Пия XII Пачелли, – это истории, это разрозненные знания, эпизоды.

Так история 300 спартанцев – всего лишь эпизод, сказ, со-скальзывающий в миф. Даже история войн персов с греками – не собственно История. История – это история борьбы за свободу, не потому, что свобода есть великая идея, а потому что свобода есть существенное измерение жизни каждого человека. Война же, заработок, секс – измерения не столь существенные.

История синтезируется из историй, когда объединяются истории Мартина Хайдеггера и папы Пия Пачелли, история Германии с историей Англии и других врагов Германии в войне. Это объединение по «наибольшему знаменателю», а им является человек, его жизнь, любовь, свобода. Не Германия или Англия, не философ или папа римский стоят перед проблемами освобождения из власти рода и семьи, освобождения от работы, подчиняющейся природным циклам (и, со-

ответственно, работы, основанной на технологиях, информации, индивидуальной ответственности).

Нацизм есть крайняя форма бегства от свободы, но религиозный фундаментализм, столь распространённый и в самых свободных частях мира, есть такое же бегство, пусть не столь агрессивное. Милитаризм – черта не только советского или нацистского режимов, но психологии большинства людей на планете, пусть они и не понимают, что мыслят и ведут себя милитаристски. Они видят мир глазами насилия и потому обвиняют гуманизм и демократию в насильственности, в «проектном мышлении» и т.п. Боязнь свободы в виде демократии, боязнь свободы в виде рационального мышления, боязнь свободы в виде гуманизма, – эта боязнь переживается не абстракциями, не странами и государствами, а людьми.

История с большой буквы синтезирует не множество частных историй в одну общую, а множество общих историй в одну частную, пропорциональную личности. Подлинно соразмерны человеку не другой человек, а человечество, но выразить эту соразмерность нелегко. Есть правда «постмодернизма», предлагающего уйти от «общего» к «частному», в том, что общее как выжимка из частного есть ложь. В этом правда историков XX века, введших в историю личность – её тело, её психологию, её конкретный опыт. История не есть академическая картина маслом, она – мозаика. Но в этом подходе возможны срывы, когда кусочки мозаики выдают себя за мозаику, хотя они не сложились вместе. На-

стоящая история есть роман «Анна Каренина», а не дневники великосветской морфинистки, брошенной любовником. Не есть она и уголовное дело о самоубийстве этой морфинистки, бездушное, хотя подробное, – а именно таковы современные многотомные «академические истории».

Почему историки не делают прогнозов

Интересно непредсказуемое. Большинство событий идут по прогнозируемому пути. Пилящий сук, на котором сидит, падает. История интересна, ибо она всегда непредсказуема. То в истории, что прогнозируемо, это уже не история, а география, социология или просто бухгалтерский отчёт. Этим история и интересна. Повторяемое в истории случается, но и повторяемое непредсказуемо. «История не знает альтернатив» – вздор. История знает лишь альтернативы, причём множественные, не какой-то сатанинский выбор из двух зол.

Когда в 1990-е годы в России появилось выражение «альтернативная история», это не случайно совпало с появлением выражения «традиционная медицина». В обоих случаях имелось в виду нечто, прямо противоположное обозначаемому. «Традиционной медициной» назвали именно нетрадиционную, высосанную из пальца сразу после завтрака «нетрадиционным медицинером». Настоящая медицина, научная медицина – чрезвычайно традиционна, в ней реализуется подлинная традиция, традиция как бережное накопление, проверка, баланс нового и старого, личного и общего. «Традиционная медицина» похожа на «традиционную религиозность» – это свежий набор суеверий и полуправды, со-

ставленный для ублажения своих фантазий.

Так и «альтернативная история» оказалась великодержавнической, антисемитской, антизападнической пропагандой, категоричной, не желающей слышать о том, что есть альтернативная история. Для этой «альтернативной истории» нет альтернатив: «жиды» и «европники» обокрали Россию, приписав себе все её заслуги, и всегда будут обкрадывать, ибо своего ничего сделать не могут. Это подлинно «безальтернативная история» параноиков и агрессоров.

Настоящая же история всегда альтернативна, поэтому историк исследует – он выясняет, какая из альтернатив осуществилась, какие альтернативы были. Историк лишь улыбается, когда слышит, что нечто «невозможно». В истории возможно всё: в самой демократической стране может развиваться фашизм, в России может образоваться свобода и т.п. Тут ведь действующие лица – не молекулы воды, которые, действительно, не могут договориться друг с другом и вылететь в одном направлении из стакана. Тут действующие лица – именно лица. Альтернативность истории – счастье, пока человек действует, и горе, когда человек отказался от действие или совершил действие неправильное. Но даже горе – интересно, ибо его могло не быть.

В «Бравом солдате Швейке» был выведен желторотый кадет, который рисовал схемы великих военных сражений, воспроизводя стиль тех схем, при помощи которых футбольные тренеры разбирали матчи. Этому кадету уподобляются

всевозможные «историцисты», для которых история – это чисто механическое явление, может быть, с небольшой примесью органической химии. Есть чёткие законы исторического процесса, надо их знать, и тогда предсказывать развитие истории легко и приятно. Чем они и занимаются.

Правда, точность этих предсказаний ровно такая же, как у цыганских прогнозов, даже меньше, потому что цыганка всё-таки вглядывается в клиента, а эти рассудительные персонажи вглядываются лишь в предрассудки и мифы, каковыми являются всякие «исторические закономерности».

Главный закон истории – история зависит не от материальных факторов, а от идей. Не среда определяет сознание, сознание определяет среду. Поэтому прогнозы делать глупо: идей не столько же, сколько людей, а в сотни раз больше, потому что у каждого человека сотни идей. Даже одна (формально) идея в каждой голове преломляется оригинально.

История человечества как история неуправляемости человечества

Вера в то, что люди управляемы – и, соответственно, вера в то, что кто-то управляет людьми – не такая древняя и распространённая, как представляется приверженцам этой своеобразной религии. Древний мир («языческий») успешно решал вопрос о том, насколько свободны люди, с одной стороны, исповедуя веру в абсолютную волю неких высших сил – инь и янь, мировой гармонии, высшего творца, с другой – дополняя эту веру убеждённостию в том, что высшие силы достигают гармонии через хаос, произвольность, «игру сил».

Получалось очень диалектично и практично: всё происходящее одновременно осмысливалось и как абсолютно неизбежное, предопределённое (на макро-уровне), и (на микро-уровне) как абсолютно случайное, суетное.

Естественные науки демистифицировали отношения с миром. Они не обнаружили в мире не высшей гармонии, ни низшей суетности. Всё оказалось и проще, и сложнее. Проще, потому что естественные науки исключили само понятие смысла и свободы, сложнее, потому что мир оказался многократно более сложным, чем может представить человек. Мир оказался принципиально познаваемым через сложные

процедуры, но познаваемым в принципе бесконечно. Творение оказалось прямой противоположностью Творцу, Который через Откровение является как Бог, принципиально не могущий быть исследованным, познанным, описанным, но при этом принципиально открывающимся, познающим и дающим Себя познать в любое мгновение через простую процедуру – через любовь.

Архаическое представление о сочетании в человечестве свободы и несвободы в XIX веке выразилось в виде квази-социологии Маркса и некоторых других авторов (имеющей такое же отношение к научной социологии как алхимия к химии, астрология к астрономии). Такая квази-социология воспроизводила в научных формах сформировавшуюся в конце XVIII века идею заговора как главной причины истории. Свободны заговорщики, несвободны жертвы заговора.

Вера в несвободу, в управляемость человечества очень живуча. Социология давно отказалась от притязаний управлять, ограничиваясь описанием и анализом, но в культуре осталась вера в то, что каждое событие есть результат воздействия со стороны людей более сильных (умных, богатых). Чем далее по шкале «модерн-архаика», тем сильнее этот предрассудок. Среди русских он сильно распространён, потому что Россия – государство казарменного типа, предельно военное по способу организации жизни, а казарма – одна из локальных ситуаций, где люди очень управляемы. Есть и

другие ситуации, и в каждой сфере человеческого существования всегда множество отношений господства и подчинения, прямого или косвенного. Так происходит потому, что человек на восемь десятых – примат, а не человек, на одну десятую вообще неодушевлённый предмет, с которым можно обращаться как с камнем, и лишь на одну десятую, а то и меньше – собственно человек.

В кресле стоматолога вопрос об управляемости почти не встаёт, на столе у хирурга не встаёт абсолютно, если только субъект не оставил распоряжения на случай необходимости пересадки органов или вхождения в кому.

Однако, в семье, у рабочего места, за компьютеров, на площади – человек и человечество, равно как и все промежуточные общности, либо вообще не управляемы, либо управляемы очень мало и с непредсказуемым результатом. Увидеть это трудно именно потому, что в какой-то степени управляемость есть, интеллект соблазняется экстраполировать эту управляемость – а экстраполяция подводит, потому что внезапно обнаруживается внутренняя сложность структуры. Если будет жарко, все люди снимут шубы, но это не означает, что все люди пойдут за оратором, который жарче прочих проповедует.

Неуправляемость человечества не означает отсутствие желающих управлять. Вообще-то все хотят и управлять, и быть управляемыми. Человечество даже жаждет быть управляемым, да только не выходит. В локальных ситуациях че-

человек способен вести себя в соответствии с выгодой, к примеру. Однако, попытка управлять людьми, апеллируя к тому, что для них выгодно (или может быть представлено как выгода) постоянно оборачиваются неудачей. Так происходит не только потому, что управляемые «взбрыкивают» и отказываются жить по выгоде. Есть и более существенная причина, по которой попытки найти, «кому выгодно» – митинг, революция или, напротив, апатия и отказ голосовать. Не живут «по выгоде» не только управляемые, но и правители – или те, кто хотел бы стать правителем. Здесь данные психологии критически важны для социолога, обуздывая его манию экстрараполяции, тенденцию воспринимать человека как часть множества. Существует крохотное пространство, которое делает поведение человека плохо предсказуемым в самых важных случаях. Предсказать, что клерк будет есть на завтрак, нетрудно – если знать ассортимент магазинов, культурные традиции, возраст и т.п. Но невозможно предсказать, выйдет клерк на митинг и, если выйдет, то с каким лозунгом. Невозможно – хотя многим очень бы хотелось делать такие предсказания, а многие предсказывают – и даже зарабатывают на этом деньги, правда, небольшие.

Любая правящая элита, которая решает, что она действительно управляет поведением своих подданных, рано или поздно обречена на горькое разочарование. Она и своим-то собственным поведением управляет лишь в очень ограниченных размерах.

Религия и наука сходны в том, что искушают людей верить в свою управляемость. Законы Божии или законы природы, – не так важно. Поэтому особое усилие должны верующие и учёные (часто это один и тот же человек, но личности разные) прикладывать к тому, что не вводить ни себя, ни других в искушение мыслить в терминах несвободы. Существование смысла лишь на первый взгляд исключает свободу, на самом же деле смысл – источник свободы, и не только свободы целого, но и частей, свободы и Творца, и Его образа и подобия, свободы и человечества, и отдельного человека.

Поэтому не стоит видеть в том, что у толпы молодёжи в Афинах одни идеалы, а в Москве – другие, – результат воздействия разных руководителей. Руководители в некоторых ситуациях бывают, но никогда руководство не определяет поведение людей – и особенно толп – более, чем наполовину. То есть, воздействие случайно, поведение же закономерно – и закон этот есть закон не экономики, а закон свободы.

Отсев и посев

История как память, выходящая за пределы личной памяти, есть источник человечности и человечества, есть огромный труд по самоэволюции, по созиданию единства. Память порождает общение и порождается общением. Никакой другой «ноосферы», никакого другого «воскрешения средствами науки» не существует.

«Восстановление единства», однако, может быть фальсифицировано и фальсифицируется в первую очередь. Единству противостоит не разобщённость, а ложное единство. Применительно к истории это означает необходимость борьбы с шумлением.

Вот интеллектуальная жизнь XVI столетия. Абсолютное большинство писавших тогда людей и книг, ими издаваемых, принадлежали к Средневековью, а вовсе не к Возрождению. До сих пор лежат неопубликованными десятки тысяч рукописей схоластических богословов. Было бы ошибкой их публиковать, было бы антиисторично изучать историю XVI века пропорционально количеству написанного и опубликованного. Историки обязаны были отфильтровать это псевдо-изобилие, этот мыльный пузырь, который раздувался властью, светской и церковной. Однако книжечка Эразма важнее для истории человечества, чем вся печатная продукция всех богословских факультетов Европы того времени. На-

сколько трудно это воспринять, видно из того, что далеко не всегда понимают, что Реформация и Контрреформация – «пустые» явления, светящиеся отражённым от Ренессанса света, по сути же представляющие собой извращённые, в средневековых формах поиски того, что в нормальном виде осуществлялось Возрождением.

Иногда пустота исторических явлений, их «неявленность» выявляется задним числом. История русского православия XIX века запечатлена в тысячах книг того времени, зафиксированы биографии множества деятелей Церкви, иногда до дня описаны те или иные проекты. Между 1917 годом и 1991 годом эти книги воспринимались как описание чудной и плодородной Атлантиды.

Наступил 1991 год и возрождение – нет, не Возрождение, и даже не реставрация, а возрождение как воссоздание государственного православия. Воссоздание неуклюжее, корявое, итогом которого стал большевизм в православной упаковке, имеющий мало общего даже с дореволюционным православием, не говоря уже о Христе и Церкви. Но количественно – опять появились десятки тысяч церковных «деятелей», «богословов», стали выходить тысячи книг. Потому и тратит государство деньги на эту дымовую завесу, что хочет оттеснить реальность, жизнь, хочет «потёмкинским православием» предотвратить появление настоящего. Историк, безусловно, не обязан с этой дымовой завесой бороться, но обязан не вводить в неё читателя, обязан даже поставить ука-

затель: «Тут обитает ничто». Не мины, но болото.

А как же любовь к ближнему? Может быть, она в том, чтобы, воздерживаясь от «историзации» бюрократических обманок, всё-таки снизойти к людям, которые в этом обмане проводят всю жизнь, делают карьеру, любят, ненавидят, детей рожают? Люди-то реальные?

Люди реальные, а их карьеры – нереальные. В том-то и ужас царства кесаря что оно перерабатывает жизнь в нежить. Однако, это не означает, что историк должен отступить перед тем адом на земле, который украшен невидимой, но хорошо известной надписью: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Напротив: историк может и должен изучать и эту сферу, тем более, что для многих эпох, для подавляющего числа никаких других сфер и не сохранилось. Надо трезво понимать, что Александр Македонский тот же Гитлер. Что ж, не изучать Александра Македонского? А почему Гитлера не изучать? Сталина? Путина? Изучать-изучать, делать из этих лимонов лимонад. Только изучать не бесчеловечное в них, не то, что сами эти персонажи хотели бы предложить для апологии – и предлагали. Изучать деформации, чтобы обнаружить формы. «Апофатическая история», «история от противного».

Да, это будет скорее история человеческой слабости – но именно в слабости скорее, чем в силе, открывается человечность. Безусловно, это не означает, что историк не должен делать усилия по розысканию источников для освещения

жизни людей «обычных», «безвластных», «массы», которые и сами, возможно, хотят спрятаться от освещения. Должен, иначе будет нарушена пропорция в пользу тех, кто достаточно силён, чтобы покупать себе будущее, заставляя потомков помнить прежде всего о себе, истребляя память о других.

Милитаристская ложь об истории

Геродот отец не истории, он отец милитаристской лжи об истории. До Геродота была милитаристская правда.

Египетские, вавилонские, да и еврейские владыки честно и прямо сообщали, что пошли и завоевали, обратили в рабство, вырезали, уничтожили. Набожные ссылались на волю Божию, остальные просто считали себя богами.

Геродот сочинил войну как мир, защиту своей свободы и жизни слабых. Конечно, персы нападали на греков. Персия в течение тысяч лет, как и все страны древности, нападала на всех соседей. Так ведь и греки нападали – Гомер именно об этом. Он – недостающее звено между историей как наивной войной ради войны и историей как войной ради свободы.

Гомер ещё ссылается на богов, но уже на первый план выводит восстановление справедливости. Уничтожение Трои – акт возмездия за кражу Елены Прекрасной. Впрочем, любая война – акт возмездия за кражу. Мой мир, а ты его украл! Ты самим своим существованием мой воздух вдохнул, моё спокойствие разрушил! И вот уже Александр Македонский пронесит свои стулья до Афганистана, и римские орлы каркают на холмах Англии, чтобы обезопасить итальянцев.

Хуже армии только религия. В самой настоящей древности, видимо, не воевали, но уже объединялись для сооружения святилищ. Какой-то перевёрнутый мир – до всяких госу-

дарств, до письменности, когда жили крохотными деревушками и жили скудно, люди сволакивали многотонные камни. Это как если бы в современном мире четыре миллиарды людей посвятили себя астрологии. Неудивительно, что от этой поры – а она длилась десятки тысяч лет, в разы дольше всей «современности» – не осталось никакой исторической памяти. Прошлое было, да сплыло, его не сделали историей. Только камни стоят.

Превращение людей в многотонные бессмысленные камни, видимо, есть первое проявление гусеничного хода истории. История – не та гусеница, которая под танком или трактором, а та, из которой шёлк. Не прямолинейное движение, которое давит всё живое, а тыканье из стороны в сторону. Не одновременное выступание всех с правой ноги, а голова уже впереди, длинное же тело подтягивается. Не чтобы среди людей были лидеры и пасомые (это ересь властолюбия), а просто есть разделение труда. В своей сфере каждый голова, а в других сферах подтягиваемся постепенно и неравномерно. И в наши дни много людей, которые ещё и Геродота не догнали, да и Гомера; на историю смотрят как фараоны или даже как рабы фараонов.

Прошлое не знает «происхождения человека от обезьяны», она знает развитие животных от более простых к более сложным (чисто количественно) организмам. Прошлое превращается в историю, когда один – один-единственный – организм говорит о себе как о человеке. Кстати, это мог быть и

неандерталец – во всех людях есть примесь неандертальских генов. То, что эту примесь открыли, приятно-символично. Примитивная вера позитивистов XIX столетия в себя как авангард человечества слишком высокомерно относилась к «отсталым народам» или к «низшим классам» в собственной стране. Впрочем, Артур Конан-Дойль устами Шерлока Холмса позволил себе предположить, что внутри любого человека существует «первобытность». Только он под «первобытностью» имел в виду «дикость», ту же отсталость. Мол, человек проходит в своём развитии весь путь, который прошло «человечество». Если бы! Ведь и величайшие научные и технические открытия делались в эпоху «дикости», может быть, и неандертальцами. Точнее, одним каким-то «неандертальцем». Изобретают не «народы», а конкретный изобретатель. Или – не изобретает, если его, к примеру, убьют или просто уморят голодом. А такое бывает!

Поставь большинство современных учёных в тогдашние условия, они ничего не изобретут, они без гранта и начинать не станут. А каково было изобретателю колеса – грантов не получал, военных ещё не существовало, а если бы и существовали, они бы не знали, что заказывать. Военные стервятники, которые сперва убивают дух изобретательства, а потом заказывают что-нибудь из останков. XIX век не случайно же перешёл в первую, а потом вторую мировую войну, – могучий интеллектуальный порыв был осёдлан военными.

В результате учебники истории, как их писали в том же

XIX столетии, практически невозможно читать. Это учебники не истории, а боевых действий. Какие-то Александры идут войною на Ричардов, потом движение в обратном направлении, потом какие-нибудь гунны нахлынут и сметут и александров, и ричардов, а на очереди Мао и Ленин, и почему они туда-сюда ходят, смысл хождения – не для них, а для читателя – совершенно недоступен. Если речь идёт о стране, где читатель живёт, тогда ещё видимость смысла есть. Это его не завоевали или, напротив, это он (его предки) завоевали, тем самым обеспечив ему условия для жизни. Но если смотреть со стороны, то вдруг ужасающе становится ясно, что всякие походы – это просто драка из-за куска, а то и желание выплеснуть накопившуюся злость или покомандовать.

Александр Невский имеет смысл только, если считать, что смысл твоего существования – не быть «под немцем», что бы это ни значило. Немцы бы твоих предков изничтожили или тебя изничтожат. Что вообще-то среди твоих предков, возможно, большинство как раз немцы, если не по отцу считать, это не очень понимается. Кажется, что я – существо уникальное благодаря стечению обстоятельств, и если в «обстоятельствах» – война, значит, без войны меня бы не было. Это сведение себя к «среде», а ведь уникальна-то как раз не среда, а душа. Великий художник выше «национального», и не бывает «национальной музыки». Так и литература тоже к языку привязана лишь формально, а суть любого творчества – не нацией задаётся, а то бы нацисты были величайшими

творцами, а на деле – такой коктейль, такой коктейль... И дело не в том, что смешение наций особо продуктивно (это очередной расистский миф, предрассудок «бульварной генетики»), а в том, что между условиями для творчества и творчеством – разрыв, пропасть, куда больше, чем между обезьяной и человеком, и никаких промежуточных звеньев даже не ищут – ясно, что их нет.

История как кровавое вскапывание, окапывание людей, словно люди это картошка, – это не просто фикция, это очень скучная фикция. Человека уверяют, что сейчас скажут самое главное о его жизни, о том, откуда он и зачем, что он может, но говорят самое ничтожное и не имеющее ни малейшего отношения к его жизни. Каждый о себе знает, что главное в нём – не результат истории, чьих-то побед или поражений, а нечто совсем иное. Человек не делается историей, а делает историю, этим и свободен.